



Информация для цитирования:

Жданов С. С. Образы Киевщины и Волыни в травелоге «По Западному краю, старому и новому» В. Л. Кигна-Дедлова / С. С. Жданов // Научный диалог. — 2025. — Т. 14. — № 10. — С. 291—324. — DOI: 10.24224/2227-1295-2025-14-10-291-324.

Zhdanov, S. S. (2025). Images of Kyiv Region and Volhynia in Travelogue “Across Western Lands, Old and New” by V.L. Kign-Dedlov. *Nauchnyi dialog*, 14 (10): 291-324. DOI: 10.24224/2227-1295-2025-14-10-291-324. (In Russ.).



Web of Science™



РИНЦ



Перечень рецензируемых изданий ВАК при Минобрнауки РФ

Образы Киевщины и Волыни в травелоге «По Западному краю, старому и новому» В. Л. Кигна-Дедлова

Жданов Сергей Сергеевич^{1,2}

orcid.org/0000-0002-8898-6497

доктор филологических наук, доцент,

¹ ведущий научный сотрудник
языкового центра «Лингва»;

² заведующий кафедрой языковой
подготовки и межкультурных
коммуникаций
fstud2008@yandex.ru

¹ Новосибирский государственный
технический университет
(Новосибирск, Россия)

² Сибирский государственный
университет геосистем и технологий
(Новосибирск, Россия)

Благодарности:

Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского научного фонда,
проект № 24-28-01431 «Репрезентация
пространства Украины в русской
культуре конца XVIII—XIX веков
(на материале отечественных травелогов):
дискурсы, нарративы, топосы»,
<https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

Images of Kyiv Region and Volhynia in Travelogue “Across Western Lands, Old and New” by V.L. Kign-Dedlov

Sergey S. Zhdanov^{1,2}

orcid.org/0000-0002-8898-6497

Doctor of Philology, Associate Professor,

¹ leading research scientist,
Language Center “Lingua”;

² Head of the Department
Language Training and
Intercultural Communication
fstud2008@yandex.ru

¹ Novosibirsk State
Technical University
(Novosibirsk, Russia)

² Siberian State University
of Geosystems and Technologies
(Novosibirsk, Russia)

Acknowledgments:

The study is supported by Russian Science
Foundation, project number 24-28-01431
“Representation of Ukrainian space in
Russian culture end of the XVIII—XIX
centuries (based on domestic travelogues):
discourses, narratives, topoi”,
<https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Аннотация:

Рассматриваются особенности репрезентации пространства Малороссии и Волыни в травелоге В. Л. Кигна-Дедлова (1856—1908) «По Западному краю, старому и новому» в рамках семиотико-имагологического анализа. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом отечественной гуманитаристики к вопросам пространственной лиминальной, в том числе украинской, проблематики, в рассмотрении которой имеется ряд лакун. Новизна исследования состоит в анализе элементов пространственной образности Киевщины и Волыни, мало изученной в литературоведении. Доказано, что репрезентация данных топосов характеризуется травестийностью по форме изложения и конфликтностью по содержанию, причем эта фактическая и потенциальная конфликтность обусловлена мультикультурностью изображаемого автором пространства, в котором зафиксированы русскость, немецкость, польскость, малороссийскость и еврейскость. Установлено также, что в описании Киева и Волыни выделен мотив неопределенности, срединности в отношении как антропного, так и собственно пространственного элементов репрезентации. Показано, что особенно ярко это актуализировано в изображении Волыни как переходного топоса между Малороссией и Белоруссией. Автор утверждает, что важным смысловым блоком травелога выступает противопоставление сакрального пространства славного исторического прошлого Киева и Волыни провинциальному, ограниченному, пошлому настоящему.

Ключевые слова:

травелог; имагология; В. Л. Кигн-Дедлов; Малороссия; Киев; Волынь; травестия.

ORIGINAL ARTICLES

Abstract:

This study examines the representation of Malorossiya (Little Russia) and Volhynia spaces within the travel narrative “Across Western Lands, Old and New” by V.L. Kign-Dedlov (1856–1908). The research is conducted through a semiotic-imagological analysis to address gaps in contemporary Russian humanities regarding spatial liminality, particularly Ukrainian themes. The novelty lies in analyzing elements of spatial imagery specific to Kyiv region and Volhynia, which have received limited attention from literary scholars thus far. It demonstrates that representations of these regions are characterized by travesty-like forms and contentual conflictuality due to their multicultural nature encompassing Russian, German, Polish, Little Russian, and Jewish identities. Additionally, it identifies a theme of uncertainty and centrality both anthropologically and spatially. This ambiguity is especially evident in depictions of Volhynia as an intermediate topography between Malorossiya and Belarus. Furthermore, the study highlights how the author juxtaposes sacred historical landscapes with provincial and banal present-day realities, emphasizing nostalgia for past glories.

Key words:

travel writing; imagology; V.L. Kign-Dedlov; Malorossiya; Kyiv; Volhynia; travesty.



УДК 821.161.1+82-992

DOI: 10.24224/2227-1295-2025-14-10-291-324

Научная специальность ВАК

5.9.1. Русская литература и литературы
народов Российской Федерации

5.9.3. Теория литературы

Образы Киевщины и Волыни в травелогe

«По Западному краю, старому и новому»

В. Л. Кигна-Дедлова

© Жданов С. С., 2025

1. Введение = Introduction

Обозначившиеся в гуманитаристике второй половины XX века тренды «культурного» и «пространственного поворотов», интерес к проблематике диалога культур вкупе с обостряющейся геополитической обстановкой и актуализацией вопросов национального строительства в конце XX — начале XXI столетий не могли не вызвать живейший интерес у отечественных ученых к тематике Своего и Чужого / Другого, национально и локально маркированной. Так, в советское время выходит монография Н. А. Ерофеева по репрезентации английскости в русской культуре [Ерофеев, 1982]. В целом, намечается тенденция сближения исторической, культурологической, литературоведческой и других областей гуманитарного научного знания в исследовании отмеченных национальностью пространств. Например, на рубеже веков выходят монографии по германской образности историка-германиста С. В. Оболенской [Оболенская, 2000] и литературоведов О. Б. Лебедевой и А. С. Янушкевича [Lebedeva et al., 2000]. Тогда же публикуется и работа культуролога Н. А. Кубанева, посвященная образу Америки в русской литературе [Кубанев, 2000]. Следует заметить, что к проблематике пространства начинает обращаться и имагология как наука о функционировании и интерпретации образов Другого / Чужого, в которой, по замечанию Б. Вестфalia, «эгоцентрический» подход долгое время подавлял «пространственный» [Westphal, 2011, p. 111].

Начиная примерно с 2010-х годов в рамках отечественных имагологических и околоимагологических штудий актуализируется внимание к теме Украины и украинскости. При этом отметим известную диспропорцию в степени исследованности украинских репрезентаций в русской словесности XIX века, к которой обращаются литературоведы и историки, стремясь выявить истоки данной образности в культуре России. Лучше

изучены литературные источники первой половины указанного столетия, которые, в частности, анализируются в монографии А. В. Марчукова [Марчуков, 2011], диссертациях И. Булкиной [Булкина, 2021], Т. А. Васильевой [Васильева, 2014], статьях Д. П. Овчинникова [Овчинников, 2016], С. О. Курьянова [Курьянов, 2018], С. С. Жданова [Жданов, 2024а; Жданов 2024б], П. В. Алексеева [Алексеев, 2025]. Отдельные маркированные украинскостью / новороссийскостью тексты русских авторов второй половины XIX — начала XX столетий представлены, например, в комплексных работах О. С. Крюковой [Крюкова, 2017] и Е. В. Дорджиевой [Дорджиева, 2024], тем не менее исследовательских лагун, касающихся данного периода, гораздо больше. Одной из них выступают пространственные образы Киевщины и Волыни, которые представлены в травелоге В.К. Кигна-Дедлова и являются объектом исследования в нашей статье.

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review

Материалом исследования служат опубликованные в журнале «Дело» в 1887 году путевые заметки «По Западному краю, старому и новому» Дедлова (литературный псевдоним писателя и публициста Кигна), и прежде всего фрагмент, связанный с изображением Киевщины и Волыни как части лиминального Запада Российской империи конца XIX века. Пространственность данного травелога подвергается в нашей статье семиотико-имагологическому и мотивному анализу, целью которого стало выявление набора характеристик, маркирующих пространство Малороссии и Волыни в указанном произведении.

Необходимо подчеркнуть, что, хотя творчество популярного при жизни Кигна-Дедлова было в значительной мере предано забвению в последующие периоды развития русской культуры, его произведения, включая травелоги, привлекали внимание отечественных исследователей. В качестве примеров можно привести монографию О. М. Скибиной, посвященную поэтике дедловского литературного наследия [Скибина, 2013], ряд статей, в которых рассматривается проблематика национальной идентичности, динамики Своего и Чужого в работах писателя [Курина, 2010; Желтова, 2016; Цзи, 2022]. Кроме того, своеобразие репрезентаций различных культурных пространств, представленных в травелогах Дедлова, анализируются в работах Т. М. Сипенковой [Сипенкова, 2009], И. А. Айзиковой [Айзикова, 2014], Г. Р. Атаянц [Атаянц, 2019], С. И. Ковальской [Ковальская, 2020], М. Ю. Чупина [Чупин, 2021]. Отдельно стоит упомянуть статью О. М. Скибиной по поэтике пейзажа в дедловских путевых очерках [Скибина, 2021]. Однако даже последняя работа, в которой цитируются фрагменты путевых заметок «По Западному краю, старому и новому»,

не направлена на анализ специфической украинской (малороссийской и волынской) пространственной образности, ограничиваясь общими выводами по особенностям пейзажного изображения у Дедлова, что, соответственно, позволяет говорить о новизне нашего исследования.

3. Результаты и обсуждения = Results and Discussion

3.1. Травестия и конфликтность в изображении лиминального Запада Российской империи в травелогe

В качестве общей ремарки следует отметить чуткость Дедлова-писателя к феномену этнически маркированного пространства и, в частности, пространства лиминального, окраинного, одним из вариантов которого и является украинский топос. Важность изображения пограничья акцентирована автором в предисловии к его книге «Вокруг России», где дедловская позиция, с одной стороны, просветительская, а с другой — подчеркнута русскоцентричная и тем самым противопоставленная внешнему, западному взгляду на пространство Российской империи: «Русский читатель все еще слишком мало знает свое отечество и его окраины в особенности. <...> Книга посвящена главным образом нашим окраинам, на которые я смотрю как на *наши* окраины. Возможна и другая точка зрения — считать Россию ихней окраиной, но стать на нее русскому литератору мудрено»¹ [Дедлов, 1895, с. III]. При этом русскость литератора, по Дедлову, не означает обязанности «России льстить» [Там же]. Все вышесказанное можно отнести к авторской позиции и в рассматриваемом нами травелогe, где отказ «льстить России» выражается в приеме остраниющей травестии, пронизывающей повествование и сообщающей репрезентации украинского пространства юмористические или иронические коннотации. В своем нарративе Дедлов с целью осмеяния действительности и придания увлекательности изображению за счет неожиданных сравнений и метафор свободно соединяет «высокие» и «низкие» контексты, например, описывая превращение арестантами из Владимира-Волынского двух собачек, кравших у них хлеб, в «абеларов» [Дедлов, 1887, с. 41].

Наряду с травестийностью изложения представляемое Дедловым лиминальное пространство Российской империи конца XIX века характеризует конфликтность. Автор определяет изображаемый им топос как «Западный край», маркируемый с точки зрения «великоруса»: «Удивительное создание этот великорус. Кажется, нет другого, более для него неудобного места, как Западный край» [Там же, с. 10]. В этом лиминальном пространстве «великорусскость» (русскость) контактирует с польскостью,

1 Здесь и далее орфография и пунктуация цитируемых источников приближены к современным. — С. Ж.

еврейскостью, белорусскостью, малорусскостью, немецкостью, литовскостью и т. п. В трактовке Дедлова этот контакт имеет конфликтный характер, выраженный в конкуренции этнических групп, в их противостоянии друг другу: «Поляки, понятное дело, его (великоруса. — С. Ж.) ненавидят принципиально, жи́ды — практически, белорусы от страха, — чтобы не ушиб» [Там же, с. 10]. В рамках борьбы за главенство автором выстроена иерархия, согласно которой «великорус» здесь имеет основных соперников в лице поляков и немцев, воспринимаемых остальным (условно автохтонным) населением в качестве хозяев: «Западный край в последнем коновале (имеется в виду поляк, чье травестийное определение “коновал” контекстно обусловлено положительным мотивом “лошадиной силы”, маркирующим “великоруса”, то есть вновь подчеркивается мотив польской русофобии. — С. Ж.) чувствует высшую расу, и был бы покорен ею в десяток лет, если бы раса эта не набрала себе уж чересчур много <...> великорус кряхтит от досады, видя, что победу у него... вырывает другой такой же могучий, но более сжатый, стоящий теснее, вышколенный культурный народ — немцы. Частичные победы великоруса меркнут перед массовым поражением поляков, белорусов, малороссов, литвы и даже жи́дов немцами» [Там же, с. 10]. Конфликтность подчеркнута и в метафоре «боевой линии» [Там же, с. 10], характеризующей западное лиминальное пространство, зафиксированное весьма широко — «от Балтийского моря до Бессарабии» [Там же, с. 10].

От себя заметим, что обычно пограничье конфликтно прямо или потенциально в силу гетерогенности элементов в его рамках. Но если на рубеже XVIII — XIX веков эта конфликтность российского Юго-Запада была представлена в травелогах прежде всего южным вектором противостояния русскости и турецкости (например, «Путешествие в полуденную Россию» В. В. Измайлова или «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумарокова), то позднее все большее значение приобретает западный вектор, актуализирующий раз за разом пресловутые «польский» и «немецкий» вопросы, которым особое внимание уделяется в дедловском тексте. Так, в интересующем нас малорусском пространстве русскость, польскость и немецкость соперничали и были противопоставлены малороссийскости в записках Ф. Ф. Вигеля, описывающего Киевщину рубежа XVIII—XIX столетий: «Богатейшие из тогдашних Киевских помещиков редко покидали свои хутора <...> Их губернский город был за Днепром, почти в ненавистной им Польше, и со времен Петра Великого в нем беспрерывно начальствовали Москали и Немцы» [Вигель, 1893, с. 58]. См. также о Киеве начала позапрошлого века: «Помещики Малороссийские <...> удалились из него почти до единого. Преобладание Польши

с каждым годом увеличивалось» [Там же, с. 197]. При этом на локальном уровне разделение поляков и русских в Малороссии сохраняется. Как указывает И. М. Долгорукий, «Поляки детей своих не учат по-Русски» [Долгорукий, 1870, с. 245]; «Губерния наполнена всяким народом: в ней Поляки, Малороссы (Хохлы) и Россияне; разность прав, нравов и обычаев каждого из них наносят служащим большие хлопоты и затруднения» [Там же, с. 261]. Ср. также с ремаркой о Киеве в травелогe М. П. Погодина: «Польские эмигранты ничего так не боятся, как возвышения Киева» [Погодин, 1844, с. 167]. Несмешиваемость гетерогенного (в этнокультурном смысле) населения Киева («конгломератность киевского населения») отмечает и С. Н. Филиппов, побывавший в городе примерно в одно время с Дедловым: «Вы замечаете... резкие деления киевлян по национальностям. Малороссы — одно, поляки и евреи — каждые сами по себе» [Филиппов, 1894, с. 83]. Ср. также высказывание П. А. Бибикова о еврейскости в контексте имперского лиминального Запада: «Нигде в большей степени, как в западных губерниях, не сохранил еврей своей типичности и оригинальности, отличающих его от прочих пород человеческих» [Бибиков, 1863, с. 119]. Соответственно, конфликтность Юго-Запада Российской империи закреплена в русской литературной традиции, к которой обращается и Дедлов.

Подчеркнем, что, хотя автор и заявляет географию Западного края широкими мазками, фактически повествование сосредоточено на трех западных топосах — Белоруси (так у Дедлова. — С. Ж.), Малороссии (в варианте Киевщины) и Волыни как наследнице Галицко-Волынского княжества, или Червонной Руси, в русском имперском пространстве той эпохи. В нашей статье в дальнейшем речь пойдет об анализе репрезентаций киевского и волынского пространства в дедловском тексте.

3.2. Репрезентация киевского топоса

С репрезентацией Киева в русской словесности тесно смыкается днепровский текст русской литературы, который, с одной стороны, образует с киевским пейзажным описанием неразрывное целое, как, например, в травелогe Н. И. Греча [Жданов, 2024а, с. 191, 193]. С другой — медиационный и трансграничный образ Днепра не исчерпывается изображением киевского участка реки. В нашем случае мы будем говорить прежде всего о двух пространственных образах этой реки: как о речной дороге для нарратора до Киева и собственно как о киевском «отрезке».

Первый образ маркирован прежде всего мотивом недоупорядоченности, где Днепр есть природно-энтропийное пространство, находящееся в конфликте с антропным началом: «Днепр и его притоки — совсем неустроенные реки. Как налила их природа, какую волю она им дала, так они и текут и буянят — и делают, что им вздумается» [Дедлов, 1887, с. 10].

Мотивы неосвоенности и враждебности Днепра по отношению к людям ярко выражены в локусах «мелей, корчей, камней, которые делают судоходство не только неудобным, но прямо опасным, если не для жизни пассажиров, то для целостности судов и правильности рейсов» [Дедлов, 1887, с. 11]. Упоминание «часто весьма капризного и изменчивого» «течения Днепра» [Бибиков, 1863, с. 123], грозящего судам выступающими из воды деревьями, мы встречаем у Бибикова. В вышеупомянутом же travelogue Филиппова образ реки остранин посредством столкновения образов проникнутого поэтическим пафосом гоголевского «чудного» Днепра и посткиевского «отрезка» реки, во многом сходного с дедловским описанием и избыливающего отрицательно маркированными локусами «зловещих песков» [Филиппов, 1894, с. 110], мелей и камней: «Унылый и скучный путь <...> И это ли тот величавый Днепр, что отразился в чудных строках великого малорусского поэта?!» [Там же, с. 116]. Дедлов, описывая докиевский Днепр, также прибегает к травестийному острашению, сталкивая фактический опасный образ реки с образом из путеводителей, где днепровские опасность и неустроенность смягчены в угоду речному начальству: «...путеводитель выходит из затруднительного положения довольно забавно. <...> описания <...> начинаются и кончаются стереотипной фразой: “Впрочем, водяное управление уже обратило свое внимание на эти обстоятельства”. Я езжу по Днепру лет десять и все десять лет читаю это “впрочем”. Об укреплении берегов... и речи быть не может» [Дедлов, 1887, с. 11].

Только киевская часть Днепра отличается от прочего в сторону большей упорядоченности, освоения природного пространства реки, подвергаемого острашению посредством олицетворения (глаголы *ворчал*, *капризничал*: «... на Днепре сделана одна крупная работа. Несколько лет тому назад Киев стал замечать, что Днепр от него уходит, прокладывая себе новое русло, так называемый Черторой — восточнее, дальше от города. Инженеры заткнули это новое русло, насыпав плотины и укрепив их откосы плетнями, камнем и деревьями. Днепр, не привыкший к такому обращению, ворчал, капризничал, но все-таки был принужден вернуться и лечь к подножию Киева, встревоженного тем, что — не вернись река — непомерно вздорожают дрова» [Дедлов, 1887, с. 11]. Здесь мы видим противопоставление городского и речного топосов. Однако имеется и иной — гармоничный — вариант их взаимодействия в рамках идиллически-романтического панорамного пейзажа, открывающегося с ночного Крещатика, где Киев и Днепр дополняют друг друга: «...расстилается громадный вид на равнину Днепра, с огоньками города, с извилами большой реки и бесконечной, ночной, серебряно-голубой далью» [Там же, с. 21].

Мотив конфликтности в репрезентации днепровского пространства выражен не только в рамках противостояния антропоного и природного топов, но и в виде базовой для дедловского Западного края идеи этнокультурной гетерогенности (немецкости и русскости): «У берегов Днепра силы соревнующих еще равны» [Там же, с. 10]. Немецкость здесь актуализирована в образах немецких «капитана и машиниста пароходика, доvezшего» нарратора «из Гомеля в Киев» [Там же, с. 10]. Эти образы отмечены характерными для немецкой типажности (типаж немца-мастерового) в русской литературе мотивами искусности, табакокурения, спокойствия, честности, порядка: «Капитан <...> вел судно по фарватеру не толще каната, с искусством, которое можно показывать в цирке. Машинист <...> солидно беседовал с приятелем-капитаном, посасывая сигару. Оба были народ видный, широкий, чистый, со спокойным взглядом и честными лицами. <...> все у них ходили по струне» [Там же, с. 10]. Кстати, теми же мотивами искусства и честности отмечен и образ немца-штурмана в днепровском тексте Бибикова: «От шкипера <...> требуется особенная сметливость и искусство, соединенные с совершенным знанием местности, т. е. течения Днепра <...> Это была оригинальная, честная, прекрасно знающая свое дело личность» [Бибиков, 1863, с. 123]. Причем данный образ характеризует синкретизм немецкости и польскости, свойственный, как помним из дедловского травелога, Западному краю: «пруссак, с польской, впрочем, фамилией» «был женат на польке» [Там же, с. 123]. Дедловым эта немецкая прямолинейная честность мастерового иронически противопоставлена уклончивости русских инженеров, не производящих нужные работы: «Наши пароходные немцы, встречаясь с пароходами речных инженеров, подымали флаг, свистали и кланялись. Но надобно было видеть, какая несокрушимая, ...прямо немецкая, ирония отражалась на их лицах при этих встречах. ...становилось совестно и хотелось говорить не по-русски, а по-немецки...» [Дедлов, 1887, с. 11].

Травестией отмечено и описание Киева, где она, в частности, затрагивает мотив живописности города, то есть его визуальной привлекательности как панорамы, что мы встречаем во множестве тестов русской словесности, например, у тех же Греча и Филиппова: «Киев — город удивительно театральный, декоративный. Расположенный в местности, глубоко изрезанной целой системой колоссальных оврагов, идущих к Днепру, он создан на радость художнику и мучение лошадам» [Там же, с. 16]. Как видим, мотив пейзажной привлекательности снижается мотивом лошадиных мучений как следствия холмистого ландшафта топоса; последний еще усилен повтором и остранным-сниженным уподоблением образа лошади в Киеве образу страдающего рвотой кота, что противопоставляет красоту ландшафта неудобству езды: «...

из того же окна (откуда открывается прекрасный вид. — С. Ж.) вы видите несчастных лошадей, или с хомутом на ушах и отчаянно задранной мордой при спуске, или скорчившихся и сторбившихся, точно кот, которого тошнит, — при бесплодных усилиях поднять воз на гору» [Там же, с. 16]. Кроме того, характерным для описания Киева является включение в панорамное изображение демиприродных локусов садов, придающих повествованию идилличности, а также небесного локуса, образующего своего рода верхнюю рамку киевской «картины»: «Из любого окна, с первого попавшегося уличного перекрестка, вы видите прелестные картинки городского пейзажа с его садами, с итальянскими тополями, этими деревьями-фонтанами, с красивыми буро-желтыми домами, с облаками и синим небом, наполняющими перспективы улиц, идущих по крутым горам» [Там же, с. 16]. Собственно, мотив города-картины выводится Дедловым на эксплицитный уровень: «Все нарисовано смелой, эффектной и изящной кистью, полной света и сочных красок» [Там же, с. 16]. Ср. с мотивом Киева-картины в тексте Филиппова, лишенного дедловской травести: «“Праматерь городов русских” отсюда поэтично-красива. Высокий... откос берега, сплошь убранного кудрявою зеленью, с золотыми верхушками церквей и пестрядью городских построек, ...величаява река с ее островками и капризными изгибами усиливают прелесть картины <...> то и другое сливается в один гармонический пандан» [Филиппов, 1894, с. 70].

Идущая рука об руку с привлекательностью демиприродность Киева распространена и на репрезентацию городских предместий, также изображенных в виде панорамной картины: «Параллельно Днепру <...> по наносным пескам тянутся на пять верст деревни предместий. Пески <...> все в садах. <...> Заканчиваются предместья парками г. Кристера и “Кинь-грусти”, откуда открывается великолепная панорама Киева, стоящего как на пьедестале, на горах, высоко в бирюзовом небе» [Дедлов, 1887, с. 18]. Мотив привлекательности / картинности усилен ноктюрностью пейзажа (мотив «тихой украинской ночи» мы встречаем в пушкинской «Полтаве»): «В лунную ночь эти сады представляют дивную картину. Колоссальные тополя, облитые светом месяца, как живые тянутся вверх. Прозрачные ивы и светятся, и темнеют. Белые мазанки притаились под ними, как спящие зверки, которые вдруг пробудились, и сонными, встревоженными глазами глядят на вас. Плоская равнина Днепра, уходя в серебряную даль, сливается с небом и светлой ночью (киевский топос города на холмах закономерно часто описывается как срединное пространство между небесным верхом и речным низом Днепра. — С. Ж.). Громадная стена высокого киевского берега темнеет ниже по течению густой синевой с серебряными складками оврагов, заросших пушистым лесом» [Там же, с. 18]. Ориенталистский

романтический оттенок киевскому пейзажному описанию придает сравнение с Дамаском, маркируемым демиприродностью садов: «Я видел Дамаск с его тридцатью тысячами садов, с его куполами, тополями и ивами — <...> ночь киевской Куреневки не уступит ночи Дамаска» [Там же, с. 18].

Вообще, репрезентация Киева у Дедлова построена на контрастах. Так, противопоставление верха и низа находит свое отражение в характеристике городского устройства. В нем выделена верхняя часть, маркируемая привлекательностью и подчеркнутой немалороссийскостью («хохол как-то незаметен в Киеве, по крайней мере в его верхней, овражистой, лучшей части» [Там же, с. 16]), что заставляет вспомнить о характеристике Киева в греческом тексте как не малорусского, а великорусского топоса [Жданов, 2024а, с. 189]. Противоположностью этой части выступает находящийся внизу Подол, в котором малорусскость, наоборот, сконцентрирована и юмористически травестирована в образе хохла-селянина, а не потомственного горожанина: «Хохла надо искать на Подоле, на плоскости у самого Днепра <...> Тут на базарах стоят запряженные парой волов телеги. Волы лежат и жуют жвачку; перед их мордами лежит сухопарый, жилистый хохол с солдатскими усами, с красной, как говядина, шеей и грудью, видной в прореху прямого ворота; на телеге восседает его “жинка” <...>, как сова в клетке зоологического сада» [Дедлов, 1887, с. 16]. Снижение достигается подчеркнутой физиологичностью портретного описания малороссийской антропности, а также зооморфными сравнениями — с говядиной и совой. Юмористической этнографичности образу малоросса добавляют приводимые автором «хохлацкие проклятия», адресованные страдающим в Киеве лошадям: «разные “шоб тобі луснуть”, “бісы”, “невірні віры бісовы”» [Там же, с. 16]. Этот мотив малороссийского насилия в образе малоросса в целом комичен и ограничен вербальной агрессией. Иначе дело обстоит с образами малороссиянок, маркируемых жестоким рукоприкладством на контрасте с их мирными мужьями, что вызывает реминисценции с гоголевской гинофобией «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Жестоко ошибся бы..., кто счел бы хохлову жинку за существо, которое всегда сидит так смиренно. <...> баба не обыкновенная, <...> исступленно топтавшая ногами и бывшая кулаками. <...> под ударами бабы оказался ее бесчувственно-пьяный хохол. Нужно было унять бабу, если она хочет иметь мужем человека, а не котлету (зооморфное сравнение, как и в случае с образом говядины, переходит в травестийно-глуттоническое (котлета)).¹ — С. Ж.). <...> Во всех “неповиновениях” жинки играют роль зачинщиков; драки разжигаются ими; купить ли что, продать ли — решает баба» [Там же,

1 Любопытно в связи с этим устоявшееся уподобление хохла и его вола в текстах русской словесности XIX века, о чем пишет например С. С. Беляков [Беляков, 2015, с. 83—84].

с. 16—17]. Соответственно, малороссийская «жинка» противопоставлена «русской жене» как существо воинственное и более активно-деловое: в отличие от хохлов местная «баба и накормит, и отвезет, и перехитрит вас» [Там же, с. 17]. Далее, автор вводит антитезу малоросса и связанного с ним пространства Киева (и шире — Юга с *dolce far niente*) и, соответственно, великоросса — Москвы — делового Севера, причем вновь в травестийном глуттоническом контексте: «Там (в Москве — *С. Ж.*) <...> холодней, люди жестче, но там народная жизнь кипит и бурлит, социальные щи варятся; а тут их борщ с салом — черт его разберет: готов он уже — или еще не приставлен к огню, не нагрелся — или уже остыл» [Там же, с. 17].

Развивая свое противопоставление «великорусскость — малорусскость», Дедлов продолжает прибегать к пространственной образности, при этом ставит с ног на голову оценочность оппозиции «закрытость — открытость», сложившуюся в русской литературе. Традиционно «закрытость» украинской хаты, окруженной тыном и садом, оценивается положительно в качестве уютного идиллического локуса в противовес локусу Дома (велико)русского, открытого внешнему энтропийному пространству, пример чему встречаем у Погодина: «Что за прелесть — эти белые хаты с шоколадными кровлями, в сени зеленых развесистых деревьев <...> обитатель их в дружбе с природою, <...> любит свой домашний кров и не покидает его без нужды. Совсем не то в Великой России; деревца вы не увидите часто подле избы, и редко сидит дома заботливый хозяин» [Погодин, 1844, с. 154]. Наоборот — у Дедлова, передающего интерпретацию своего московского знакомого, для которого Москва, конечно, не лишена признаков энтропийности («грязная, вороватая»), но одновременно данный хаос жизни оценивается в согласии с мифопоэтикой как потенциально творческое начало, исток нового порядка в противовес идиллическому застою Киева-Малороссии: «Там, в Москве, из народного хаоса нет-нет да и возникнет нечто в сильной, прекрасной или безобразной — но всегда сильной, с задатками будущего, форме, — что поразит, наэлектризует, заставит напрячь тело и душу. А тут каждый в своей муры (тесное, низкое и темное помещение, то есть антиидиллическое, по сути, пространство. — *С. Ж.*), в своем вишневом садочке» [Дедлов, 1887, с. 17]. Соответственно, московская антропность отмечена открытостью, а киевская — закрытостью, поданной как лицемерие через противопоставление внешней проникнутой высоким идиллическим нарративом речи на улице как публичном пространстве внутреннему негостеприимству, жизни для себя: «...встретится на улице: “Та Боже ж милый! та заходите ж до мене. Горилки выпьем, вишневки, спотыкачу, поговорим о поэзии, о музыке, о вдохновении, о дружбе”. — “Да я с удовольствием зайду; только не знаю вашего адреса”. — “А что там тот бисов адрес, холера ему в бок! — вы так за-

ходите... (неопределенность киевского Дома есть знак его закрытости, свои в адресе не нуждаются, а чужие (москвич) внутрь не допускаются. — С. Ж.) Садочек, спотыкач, дружба, вдохновение...” Так и не скажет, где живет, а на вид такой ласковый, точно герой сентиментальной думки (это определение травестирует сентименталистский идиллический нарратив, прочно связанный в русской словесности с репрезентацией малороссийского Домохаты. — С. Ж.). Бог с ними <...> не ко двору я им — хочу назад, к моим кацапам; там по крайней мере плут — так форменный плут, о дружбе и вдохновении уж и не рассуждает. А хороший человек — так прямо адрес говорит» [Там же, с. 17—18].

Заметим также тесную связь алкогольной глуттонии (образы спотыкача, вишневки) с мотивами малороссийского гостеприимства и идиллического изобилия в пространстве Дома, конечно, в травестийном дедловском изводе. Ср. с погодинским вариантом малороссийского хлебо-сольства, ждавшего нарратора в домах Максимовича-отца, который «потчевал» гостя «наливкою на выбор из сотни своих скляночек» [Погодин, 1844, с. 167], и матери Гоголя («погреба с наливками, вареньями, сырами и разными произведениями Малороссийской природы» [Там же, с. 159]). Позднее Дедлов возвращается к гротескно заостренной глуттонии в характеристике окрестностей Киева, усадьбы своего приятеля «на юге Киевской губернии»: «Кухня удивительная: незабвенные борщи, кукуруза слаще меда и нежней поцелуя девушки; а за баклажаны по-гречески я отдал бы все греческие грамматики мира с их авторами в придачу» [Дедлов, 1887, с. 26]. Здесь травестия сглажена, зато присутствуют многочисленные маркеры демиприродной малороссийской идиллии в гоголевской романтической огласовке: «чудная, теплая, ясная» погода, «хорошенькие хохлушки», «страшные истории про ведьм и упырей» [Там же, с. 26]. Мотив глуттонического гостеприимства актуализован и в образе Дома-Семьи во Владимире-Волынском: «...мы уже были среди гостеприимной семьи Е. Н. Дверницкого, ели удивительный борщ из помидоров, запивали его обольстительными сливянкой, терновкой и вишневкой» [Там же, с. 34].

Относительно «высоким», нетравестийным вариантом киевского топоса в травелог Дедлова выступают локусы, связанные с пространством исторической памяти и (изобразительного) искусства. Причем в отличие от путевых заметок авторов первой половины века число таких локусов и подробность их изображения в дедловском тексте, как и в более позднем — филипповском, весьма ограничены. Пространство исторической памяти Киева амбивалентно оценивается Дедловым как, с одной стороны, фрагментарное, неопределенное: «Это все обломки-кусочки — реставрированные и наново покрашенные. <...> непосвященная в таинства “науки

о прошлом” публика не найдет в них ничего интересного, ничего говорящего ее уму и сердцу» [Там же, с. 19], — что корреспондируется с оксюморонным образом старого-нового Киева у И. М. Долгорукого [Жданов, 2024б, с. 258].

С другой стороны, мы встречаем мотивы древнерусской истории и сакральной вечности, связанные с описанием локуса-исключения — «сумрачных мозаик Софийского собора, глядящих... теми же задумчивыми, скорбными и строгими очами, какими смотрели они на молящихся древних князей» [Дедлов, 1887, с. 19]. Здесь остроящая травестия направлена не на прошлое, а на настоящее, которое как в антропном, так и пространственном вариантах представляется нарратору ничтожным на фоне исторического памятника: «Из храма выходишь таким ничтожным, таким червяком <...> ты — ничто. <...> Ты живешь в минуте, в капельке воды. А эти лики в храме окидывают взором волнующееся море столетий и с их высоты люди — муравьи, а земля — муравейник» [Дедлов, 1887, с. 26]. Автор в своем онирическом опыте обращается к мифопоэтическим мотивам времени как воды и человечества как насекомых, где топос в темпоральном слое настоящего снижен посредством литот капли воды и муравейника. Отсюда «удручающее впечатление», производимое Софийским храмом. Аналогичный диссонанс между сакрально-вечным и сиюминутным бытием еще более заострен в репрезентации пещер Печорской лавры с «нетленными телами святых», вызывающих у профанного созерцателя чувства «недоумения и глубокой тоски» [Там же, с. 19]. Если у Греча хтонизм киевских пещер диалектически переосмыслен как путь к сакральному (истинному) «небесному солнцу» [Жданов, 2024а, с. 192], по отношению к которому дневное светило есть лишь подобие, то Дедлов находится в позиции колеблющегося нарратора, не способного сделать однозначный вывод-выбор и, соответственно, захваченного пространственной дихотомией света-мира и тьмы подземья: «Где истинная жизнь и истинное счастье: — тут, с нами, на горячем солнце, развивающем в нас горячие страсти, которые нас сжигают, оставляя в конце концов горсть пыли от бесплодно сторевавшего человека? или там, в земле, где человек смирил себя и угас не горев, в блаженной уверенности, что снова начнет жить?» [Дедлов, 1887, с. 19]. Впрочем, набожность богомольцев в Киеве не травестийна, наоборот, ирония направлена на представителя Чужого, ставящего сакральность под сомнения с точки зрения логики западного этоса труда, что актуализирует мотив конфликтности и отражает антизападность позиции автора: «Заграничный доктор из жидовских немцев <...> увидев массу богомольцев, изрек, что “у русского народа очень много свободного времени”. Я не имел счастья созерцать лицо почтенного доктора, но готов поклясться, что на нем нет выражения

тоски, которое появляется, конечно, от избытка “свободного времени”...» [Там же, с. 19—20].

Положительно охарактеризован и отмеченный мотивами привлекательности и старины локус «храма киевских больниц св. Кирилла, построенного в XII веке и возобновленного внутри А. В. Праховым»: «...мраморный иконостас, одна из тех мраморных работ, которые теперь никак не хотят выпустить нас из Киева <...> Кирилловская церковь — это целый музей живописи двенадцатого века. <...> Очень красив мраморный иконостас в византийском стиле» [Там же, с. 18]. В качестве сакрального и одновременно эстетического пространства в травелоге Дедлова представлен локус восстанавливаемого также Праховым Владимирского собора в Киеве. Как и у Филиппова, с этим местом связаны два образа персониферы — противопоставленные друг другу художники Сведомский и Васнецов: «П. А. Сведомский — полная противоположность Васнецову» [Там же, с. 23]. Образ Васнецова маркирован мотивами гения, чуда, жертвенной игры фантазии, самосожжения (жертвования себя искусству), гармонии, в которой сливается визуальность и музыкальность (в форме авизуальности, неопределенности), и народности: «...самый сильный русский художник»; «На стенах Владимирского собора г. Васнецов делает чудеса» [Там же, с. 22]; в орнаментах алтарной части «...художник в полном блеске развернул прихотливые узоры своей фантазии. Орнамент — это рисованная музыка. Определенных образов нет — пред вами ритм линий и хоровая мелодия красок. Растут, перевиваются и поднимаются выше какие-то листья, расцветают сказочные цветы, нависают, сгибая стебли, невиданные плоды; могуче гудит фон темных и знойных цветов; весело звенят личики херувимов; всей грудью поет в унисон пестрая симметрия»; «Приятели в шутку называют... (Васнецова. — С. Ж.) самосожигателем»; «человек из народа» [Там же, с. 23]. Образ же Сведомского отмечен мотивами таланта, римскости, ясности, спокойствия, барскости: «талантливый живописец» [Там же, с. 22]; «римлянин времен упадка»; «барин, обыкновенный дворянин хорошей помещичьей фамилии, не без солидных связей с чиновным и родовитым Петербургом» [Там же, с. 23]; «Его “Новый Завет” во Владимирском храме будет... ясным отдыхом после могуче-напряженных пророков, святителей и святых Васнецова» [Там же, с. 25]. Аналогично Филиппов делает акцент на национально-культурной идентификации художников, называя Васнецова приверженцем «русского», а Сведомского — «западного» (итальянского) стиля в живописи [Филиппов, 1894, с. 76]. Еще одним общим для дедловской и филипповской репрезентаций собора Св. Владимира является «низкий» мотив финансовых расходов, дешевизны постройки. У Филиппова он выражен в реплике Прахова: «Вся эта красота будет стоить гроши» [Там же, с. 75]. У Дедлова этот мо-

тив служит для травестийного остранения сакрального пространства путем смены регистра повествования на административно-хозяйственный план: «Это большая любезность со стороны г. Сведомского, так как заработки тут плохие. <...> Васнецов пишет <...> тоже чуть не задаром <...> надежды привлечь других наших знаменитостей плохи» [Дедлов, 1887, с. 23]. Впрочем, Дедлов отдает должное и итальянской школе, замечая, «что мраморные работы как для Кирилловского, так и для Владимирского храмов пришлось отдать в Италию», поскольку работа русских и «польских мраморщиков» отличается либо дороговизной, либо худшим качеством исполнения и материала [Там же, с. 19].

Наконец, Дедлов противопоставляет друг другу локусы пространства исторического прошлого и рекреационного Киева, травестируя последний: «Ярослав Мудрый и — Château (пренебрежительно охарактеризованный «театрик». — С. Ж.), Аскольдова могила и — соседние с Шато «Минерашки» (локус искусственных минеральных вод в деминутивно-разговорной огласовке. — С. Ж.)! На первый раз это коробит» [Там же, с. 21]. Иронически описываемые места массового отдыха роднят, однако, Петербург и Киев, придавая описанию последнего мотив столичности, разумеется, в травестийной трактовке: «Оба увеселительные заведения — то же, что и кафешантаны Петербурга» [Там же, с. 21]. Это пространство пошлости, скуки и мнимости — симулякров родства, эротики, искусства, чуда, даже француженности: «Малолетние велосипедисты, сестры Мартенс — столь же сестры, сколько и братья одна другой, русская певица Иванова, лет под сорок и в ночном костюмчике bébé, французско-немецкая артистка Бердичевсон, исполняющая венгерские песни. Чудеса мимики, чудеса ловкости, — чудеса скуки» [Там же, с. 21]. Эти поддельные чудеса «театрика» также противопоставлены настоящему, привлекательному демиприродному чуду — находящемуся рядом пейзажу Крещатика, «главной киевской улицы», маркированной особой привлекательностью в варианте ноктюрности: «Там страшно сыро и удивительно красиво, особенно ночью, при звездном небе. Это волшебное царство теней от гор и леса; только наверху чистое небо, тяжелым, темным шелком лежащее над оврагом и заглядывающее туда своими звездами» [Там же, с. 21]. Аналогично из локуса «Минерашек» открывается привлекательная картина на Подол и днепровскую панораму, упомянутую выше. Травестией проникнута и глоттоническая сфера данного локуса, амбивалентно сочетающая «прекрасное киевское пиво» и «мерзейшие произведения обоих буфетов» [Там же, с. 21—22]. Ср. также ироническое уподобление кафешантантных вариантов искусства и глоттонии по признаку возраста: «русская певица Иванова, ее сорок лет, и бифштекс, которому от роду тоже не меньше» [Там же, с. 22]. Травестийное

сочетание пространства исторической памяти и прозаического настоящего актуализировано также через мотив археологических раскопок, сквозной для дедловского травелога, где незначительные артефакты настоящего могут быть реинтерпретированы в будущем в качестве старинных и особо значимых: «современное поколение не дожидется эпохи, когда из доисторических курганов выколют остаток паровоза и очки профессора. Паровоз, конечно, будет принят за победную колесницу киевского полицеймейстера, а очки за часть трагической маски из театра Château, близь Аскольдовой могилы» [Там же, с. 22]. Образы паровоза-колесницы и трагической маски травестируют античный хронотоп в киевском топосе.

3.3. Образы волынского пространства

Волынь в дедловском тексте представлена в нескольких взаимосвязанных ипостасях. Первой из них является пространство исторической памяти, маркированное сочетанием русскости и инокультурности, а также сакральностью. Как и в репрезентации Киева, Дедлов в изображении города Владимира-Волынского, куда автор сопровождает Прахова на раскопки, сталкивает образы великого прошлого и пошлого настоящего. Топос в темпоральном слое русского Средневековья («старый Владимир») отмечен такими образами персониферы, как основатель города Владимир Святой, летописец Нестор и венгерский король Андрей [Там же, с. 36]. Это пространство маркировано мотивами центральности («административный и духовный центр обширного края, в состав которого входили Западная Волынь, Холмщина, Подлесье и часть Галиции»), сакральности и учености («более двадцати церквей и многочисленные училища»), привлекательности и европейскости («славный город», по Нестору; «великолепный город», превосходящий, согласно королю Андрею, все «в немецкой земле»; «Владимир XI столетия был европейским городом») [Там же, с. 36].

Особо значимым в связи с волынским пространством исторической памяти в дедловском травелоге является описание локусов церквей во Владимире. В связи с местным Успенским собором упомянут ряд исторических сюжетов и образов исторической персониферы. Это похороненные здесь основатель храма владимирский князь Мстислав Изяславович; князь Василек и его жена Олена; украсивший храм сын Василька Владимир; князя Андрей и Лев Юрьевичи; сын Андрея, Юрий, объединитель Галича и Волыни; княжна Анна Сангушко-Коширская; епископы Вассиан и Феофан Гобебский, а также униатские епископы Игнатий Потей и Мороховский. При этом сакральный локус в пространстве исторической памяти также маркирован конфликтностью, порождаемой столкновением разных культур: «В 1491 году татары разорили город и храм»; «В 1648 году храм разрушен казаками как униатская кафедра» [Там же, с. 12]. Соответствен-

но, мы имеем дело в том числе с религиозным противостоянием между православием и униатством в пространстве Западного края: «В 1806 году собор передается униатами православному духовенству с описью, в которой храм изображен в самом жалком состоянии. “Из числа прописанных икон <...> во время содержания в той церкви провианта (!), неведомо кем обтерто четыре”» [Там же, с. 13]. Травестиен в рамках репрезентации храма также образ (польских) «барских конфедератов», которые оскверняют сакральный локус склепа, «засоренного обломками табачных трубок, бутылок, чешуйками от подбородников старинных киверов и обрывками войлоков» [Там же, с. 13], причем принадлежащего униатскому епископу: «По иронии судьбы, в гробнице первого униата ночевали и пьянствовали католические солдаты» [Там же, с. 14]. Влияние Речи Посполитой проявляется и в образе надгробной плиты «Анны Сангушко-Коширской, с надписью и литовским гербом Гедимины, которому в потомки приписались южно-русские ветви дома св. Владимира: Сангушки, Чарторийские, Святополк-Четвертинские и Полубинские»¹ [Там же, с. 13]. Вообще, в русских травелогах XIX века полонизация оценивается как порча русскости. Ср., например, противостояние идиллической (русской в контексте) Малороссии и конфликтной полонизированной Правобережной Украины в травелоге Погодина: «Поляки... оказали на ней все свое влияние»; «Малороссия за Днепром имеет уже другой характер <...>: местоположение хуже, селений мало» [Погодин, 1844, с. 170]. В целом с оценкой негативного влияния Польши согласен и Дедлов, рассматривающий волынские «развалины древних храмов и гробы древних мертвецов» как свидетельства «старой, едва не ополоченной» «Руси» [Дедлов, 1887, с. 12], «старинной Руси, Руси летописи и легенд, былин и жития святых» [Там же, с. 15], то есть общерусского сакрализованного пространства исторической памяти.

В настоящем нарратору темпоральное слоёное описание «Мстилавова Успенского храма» амбивалентно. В нем главенствуют положительные мотивы величия, привлекательности, таинственности, остраивающие противопоставленные энтропийному по своей сути образу руин: «Трудно найти более величественные развалины» [Там же, с. 46]; «Успенский храм одинаково прекрасен как внутри, так и снаружи»; «Уцелевшая часть алтарной арки нависла, но не угрожает, а держится легко и таинственно»; «Хорош он и снаружи, и днем и ночью», «чудные развалины» [Там же, с. 47]. Энтропийность храма романтически облагорожена (а не профанирована в отличие

1 Ср. с мотивом псевдопольскости русских дворян у Погодина: ««Любопытно было бы <...> рассказать, сколько Русских помещиков в течение времени до Екатерины II ополчилось, приняв Католическую веру, чтобы воспользоваться покровительством Польского Правительства» [Погодин, 1844, с. 170].

от описание иных волынских локусов) в мотивах страдающей сакральной смертности, священных призраков иного мира и прошлого, смирения и утешения: «По ночам, говорят, кто-то плачет и ходит по храму легким, женским шагом, — по заброшенному храму святой девы...»; «Днем, когда вся мерзость запустения, все эти хлева, свиньи, капустные огороды видны, каменный темный гигант представляется старым, седым мучеником, поставленным к позорному столбу. Ночью... это величавый мертвец, со всеми следами предсмертной муки и со всем миром всеисцеляющей смерти. ...он <...> своим молчанием и спокойствием как будто хочет утешить того, кто, по рассказам, в нем ходит и плачет...» [Там же, с. 47]. Впрочем, дедловский образ Успенского собора имеет и травестийный вариант, где комизм строится на несовпадении образа храма в воображении археолога Прахова и созерцаемой нарратором реальности: «А вот и Успенский собор Мстислава Второго. Не правда ли, величественное здание? — продолжал А. В., обращая мое внимание на что-то похожее на кирпичик, поставленный стоймя среди домиков, представлявших кирпичиками лежащими» [Там же, с. 47].

Также в пространстве Владимира упомянут локус «бугра земли», названного в народе «то Федоровщиной, то Старой Катедрой» [Там же, с. 14], скрывающего в себе остатки «св. федоровской владимирской церкви», «гораздо более древней, чем мстиславский храм»: «...развалины каменной, трехкорабельной церкви, ориентированной не на восток, а — по обычаю глубокой старины — на северо-восток» [Там же, с. 15], при этом приход данного разрушенного храма маркирован уже католичеством — «слободка отцов-доминиканов» [Там же, с. 15].

Как и в пространстве Киева, в репрезентации Владимира травестийно сталкиваются темпоральные слои прошлого и настоящего при обращении к мотиву археологических раскопок: «Все вместе представлялось как раз тем, что называется развалинами, будь это храм десятого века... или губернский собор современного архитектора, <...> только в исключительных случаях не превращающийся в развалины» [Там же, с. 41]; «...как подумаешь, что настанет время, когда и наш брат, человек девятнадцатого века, попадет на зубок археологам, — становится страшно. Будущая археология... усовершенствуется настолько, что по обломку черепа станет читать все дурные помыслы и чувства» [Там же, с. 45].

Объединяющим для прошлого и настоящего Волыни является также ранее упоминавшийся мотив конфликтности. Но если в репрезентации пространства исторического прошлого автор делает акцент на польскости, противостоящей русскости, то при изображении современности ярче выделяет немецкий элемент. Волынь Дедлова есть «теперь онемечиваемая Русь» [Там же, с. 12]. При этом автор прибегает к мотиву волнения в двух

изводах. Одно волнение — это эмоции, испытываемые автором (и Праховым) от созерцания Своего, остатков общерусской Древней Руси: «Тогда, увидев все собственными глазами <...>, позволю себе волноваться и я» [Там же, с. 12]; «...быть одним из первых, кому покажется лицом к лицу старинная Русь, Русь летописи и легенд, былин и жития святых — это не только манит к себе, но волнует» [Там же, с. 15]. Другой тип волнения есть волнение немца-колониста от вождения Чужого, новой земли в настоящем, что имплицитно актуализирует конфликтный сюжет «Drang nach Osten»: «...и сегодняшняя Волынь может и волновать, и манить. <...> “Киевлянин” напечатал передовую статью о немецкой колонизации Волыни, о напряженных отношениях немцев к крестьянам губернии, даже о тайной фабрике оружия, с которым в руках немцы хотят не то нападать на мужиков, не то защищаться от них» [Там же, с. 15]. Хотя образ этой «официозной» газеты и помещен в травестийный контекст, автор признает основательность повода ее публикаций при несовершенстве формы выражения: «“Киевлянину” принадлежат большие заслуги в печатной борьбе против полонизма в крае; в последнее время он обратил внимание на немецкую колонизацию пограничных губерний» [Там же, с. 20]. Признавая достоинства немецкости по отношению к польскости («немцы подымают ценность земли, ...они хорошие хозяева, ...они спокойные жители края»), Дедлов, однако, отказывается принять первую в силу ее чужести: «...их пускать на земли, предназначенные для русских, не годится. <...> Люди как люди — только чужие, не в пору и не ко двору» [Там же, с. 20]. При этом бóльшую конфликтность в западном крае порождает, по мнению автора, столкновение немецкости не с русскостью, а с польскостью: «Откуда же взялась бледная от страха статья “Киевлянина”? <...> Между колонистами — немцами и поляками существует нерасположение конкурентов. Немцы берут решительный верх. Хозяйство их лучше, землю отдают им охотой, разговаривают с ними вежливей, доверяют больше. Словом, немец теснит поляка, и последний охотно подгадил бы первому, притом, как можно чувствительней» [Там же, с. 48]. Мотивами агрессии, кровопролития и религиозного фанатизма маркированы прежде всего образы поляков: «Прошлогодняя Пасха приходилась в день св. Марка, а у поляков существует предание о старинном пророчестве, предсказывающем в Польше страшное кровопролитие в такую Пасху. Увлекаемые силой рока поляки подчинились необходимости хоть помечтать о том, чтобы кого-нибудь зарезать. Кого же резать? — Конечно, немцев» [Там же, с. 48]. Впрочем, конфликтность охарактеризована как потенциальная, не выливающаяся в физическое противостояние: «Пасха на св. Марка прошла благополучно, и волыняне статьей “Киевлянина” нимало не тревожатся» [Там же, с. 48].

Кроме того, немецкость и польскость на русском Западе частично сливаются (вспомним ополяченного немца-штурмана из бибиковского травелога): «Всех колонистов в Волынской губернии около двухсот тысяч. Большинство — немцы; меньшинство — чехи и поляки из русской Польши. Да и немцы с чехами пришли не прямо из заграницы, а долго прожив в Привислянском крае. Все они отлично говорят по-польски, а католики под влиянием поляков-ксендзов даже и ополячились слегка» [Там же, с. 47].

Соответственно, конфликтность характеризует и другую ипостась Волыни — в образах современных автору провинциальных городов — Ковеля и Владимира. В пространстве первого конфликтность подана в юмористически-финансовом ключе как удачная попытка еврейских работников почты заработать «лишние двенадцать копеек» [Там же, с. 31] на проезжающих, переходящая в характерное для многих русских травелогах об Украине (например, в том же травелогe Греча [Жданов, 2024а, с. 184]) обобщение: «...весь Западный край, везде, где есть жиды, заморен совершенно так же...» [Дедлов, 1887, с. 31]. В репрезентации владимирского топоса конфликтность обозначена резче, одновременно как межэтническая и межконфессиональная — между польскостью и русскостью, католичеством (совместно с униатством) и православием: «В Западном крае воспрещено именоваться поляком, в крайнем случае можно быть лицом польского происхождения; обыкновенно же такое лицо именует себя католиком, свою землю католической, свою женку из полек не русской, а католичкой» [Там же, с. 35]. Это размежевание, по Дедлову, тотально и простирается вплоть до животного мира — в травестийном образе «католических свиней»: «По улицам свободно бродят свињи, преимущественно католические <...> Я просто повторяю слова местного поляка, который на вопрос, неужели жиды занимаются откармливанием этих, бродящих по их дворам, свиней, ответил, что свињи — католические, владимирских мещан» [Там же, с. 35].

То же размежевание и в стратифицированном антропном пространстве, где мещане недовольны имперскими властями («Мещане непременно обижены новым городским управлением, отнявшим у них городские имущества, главным образом заключающиеся в выгонах и приречных сенокосах. Мещане — по большей части католики, и потому городскую реформу считают новой карой за последнее повстанье» [Там же, с. 36]); еврейская община подавлена «кагальными воротилами»; интеллигенция же «непримиримо» разделена национально и имущественно «на польскую и русскую, или, как на западе говорят, католическую и православную. Католическая несравненно многочисленней и пышней» [Там же, с. 37]. Их неравенство выражено также в образах транспортных средств: у поля-

ков — «отличные брочки» и даже коляски с «лакеем и четверной цугом»; у русских — «купленные по случаю в подержанном виде тарантасы» [Там же, с. 37]. Мотив (подавленной) конфликтности также связан здесь с ироническим мотивом слухов, представляющих противоположную сторону в наихудшем свете: «Особенной яркости и неустанности достигают сплетни и зависть тогда, когда они зарождаются в католическом лагере по адресу православного — и наоборот. Тут всему верят. А если слух не оправдался, одни говорят, что правительство, другие — что иезуиты запутали и скрыли скандальное дело. Скажите поляку, что жандармы повесили пол-Варшавы, вас поблагодарят за свежую новость. Сообщите русскому, что поляки сожгли пол-Москвы, вы не встретите недоверия» [Там же, с. 38]. Впрочем, нарратор оговаривается, что его репрезентация касается любого «типичного городишки Юго- или Северо-Западного края» [Там же, с. 38].

В волыньском Владимире же конфликтность предстает в форме отрицания поляками русскости в пространстве исторической памяти, в отказе признавать за русскими цивилизованность, а не деструктивное варварство в соответствии с мифологемами эпохи Просвещения: «Какой это собор, когда это наш древний костел, забранный и, как водится, разрушенный русскими! Они содержали в нем провиант, они расхитили иконы, ризы, драгоценности. Им приятно разрушать все польское; они враги всякой цивилизации, эти полудикие казаки, раскольники и чиновники. <...> Мстислав Второй? Но чтобы выдумать второго, надо изобрести первого. А затем пойдет третий, четвертый, пятый. И каждый окажется основателем какого-нибудь костела, который вслед за тем будет обращен в церковь. Взгляните на архитектуру собора. Прекрасный Ренессанс. Желал бы я видеть того русского ученого, который сказал бы..., что его мифический Мстислав знал и любил Ренессанс. <...> Не верю — и баста!» [Там же, с. 38]. Соответственно, русскому мифу, что Малороссия есть испорченная польскостью Русь, противостоит польский миф, где Волынь есть недо-Польша, выступающая (по меньшей мере, в рамках Восточной Европы) центром (западной, европейской) цивилизации, влияющим на маркируемую дикостью периферию: «Я угадываю ваши дикие намерения. Вы хотите доказать, что культура края не польская, что в дикой Волыни могла существовать цивилизация, принесенная туда не Польшей — этой мученицей, этой просветительницей варваров русской национальности, павшей от своей излишней гуманности под ударами грубой силы казаков и мятежных хлопов (см. “Огнем и мечом” Сенкевича). <...> но мы, но Европа, но весь свет только улыбнутся при взгляде на эту грубую контрафакцию» [Там же, с. 38—39]. Этот польский миф травестируется автором, снижающим регистр повествования за счет того, что оно помещается в пространство польского обывателя, чей

исторический кругозор ограничен одной прочитанной книгой Сенкевича, что, в свою очередь, порождает вариант конфликтности между владимирскими филистерами польского происхождения и московскими профессорами, носителями иного взгляда на пространство исторической памяти, в частности, на локус владимирского храма: «На их лицах презрение и вместе с тем испуг — а вдруг за это презрение арестуют? — любопытство и вместе с тем выражение всезнания. <...> Наносится новое оскорбление несчастной Польше невежественными руками московских ученых, несостоятельность которых может разоблачить любая уездная старая дева и любой арендатор. Владимирские развалины были и останутся памятниками польской культуры, а не русской» [Там же, с. 39].

В целом, дедловские репрезентации волинских городов в современном автору темпоральном слое травестийны. Авторская ирония здесь усилена по сравнению с киевской образностью, где ущербность повседневности смягчена идиллическим панорамами Киева как вечного города. Ковель описан вскользь и отмечен мотивами незначительности (уничжительный диминутив «городишко» [Там же, с. 28]), непривлекательности, неудобства (в травестийном изображении гостиницы, «довольно опрятного барака, носящего название Hotel Belle-Vue. Вид из Belle-Vue необширен — на телеграфный столб, но спать можно довольно спокойно, если не считать клопов и любовных сцен, происходящих за тонкими перегородками номеров» [Там же, с. 28], а также охарактеризованных через диминутивы почты, «дрянного домишки», и храма, «древней деревянной церковки; ... не моложе двухсот лет, но на этот раз душа наша не смягчается даже ее археологическими чарами» [Там же, с. 29]) и дикости нравов («Орава извозчиков хотела вещи растащить. Носильщик с размаху бил извозчиков нагруженным чемоданом по животам, причем те не изъясняли никаких признаков страдания» [Там же, с. 28]). Даже местная полиция не служит упорядочиванию пространства: во время драки «два жандарма <...> беседовали, кажется, о политической неблагонадежности Баттенберга» [Там же, с. 28].

Характеристика Владимира отличается амбивалентностью. Помимо положительно описанного локуса храма, есть несколько иных позитивных образов владимирских мест: «уютный домик» Дверницкого (здесь диминутив не имеет уничижительного оттенка), где нарратор останавливается; «высокие и красивые каменные церкви», а также «лучшие строения в городе» — «заездные дома и корчмы» [Там же, с. 35], отмеченные мотивами основательности, каменности, древности, просторности («Такая корчма всегда прочная, каменная и старая; ей лет двести-полтора. Она... очень длинная»; «монументальные корчмы») и веселья с эротическим оттенком

(«Шинкарка, классическая молодая шинкарка, <...> по старой традиции делает гостям глазки» [Там же, с. 36]). Впрочем, репрезентация последних неоднозначна, поскольку данные локусы связаны с пространством Чужого, маркируемым польскостью. Дедлов представляет их реликтами польской эпохи Волыни, оцениваемой негативно, что мы встречаем и у Погодина, как времени эксплуатации местного населения пришлой элитой: «До освобождения крестьян панская Волынь жила широко и весело», когда уездный город выступал центром «общественной, торговой и кутежной жизни»; «во Владимире не хватало гостиниц для веселых панов и франтих-паней. <...> гремели мазурки, лилось венгерское и рассыпались жарты и комплименты. Прекрасные дни и еще более прекрасные ночи минули, и их немymi свидетелями остались монументальные корчмы, создания веселой панско-польской культуры» [Там же, с. 35—36]. При этом в дедловском тексте мотив веселости польских панов в пространстве Западной Украины смягчен, тогда как у Греча роскошь жизни польских магнатов противопоставлена страданиям нищих холопов [Жданов, 2024а, с. 184].

Другими мотивами, маркирующими Владимир, являются лиминальность и маломасштабность (последняя связана с типажными представлениями о российском провинциальном городе). Лиминальность выражена как буквальное местонахождение на границе («граница близко, верст двадцать»), а также подчеркнута в описании локуса реки, на которой расположен город, Луга, по признаку цвета воды контаминирующегося с пространством Запада: «вода его зеленоватая, как в Дунае, Рейне и Сене. По цвету воды Луг — заграничная река» [Дедлов, 1887, с. 35]. Кроме того, напомним о смешанной польско-русско-еврейской антропности, то есть поликультурности топоса, что также актуализировано в репрезентации локусов — «каменных церквей»: «...костел, синагога и монастырь — ярко выбеленные, развалины квадратной колокольни доминиканского монастыря и величественная вблизи руина Мстиславова храма» [Там же, с. 35].

Лейтмотивна и характеристика маломасштабности: «невысокие берега маленького Луга, в котором камышей больше, чем воды» (входит в состав городской репрезентации описания локуса реки) [Там же, с. 35]; «Во Владимире девять тысяч жителей» [Там же, с. 36]; «городишко» [Там же, с. 37]. Мотив маломасштабности актуализирует также иной вариант владимирской лиминальности — поселения, маркируемого неопределенностью статуса между городом и селом: «Если бы читателя завести во Владимир-Волынский не предупредив, он никак не догадался бы, что он в городе. Это — гнездо белых мазанок <...> читатель не признает во Владимире города» [Там же, с. 35]; «теперь он — всего лишь уютное и мирное село» [Там же, с. 36]. До некоторой степени сельскость топоса придает ему чер-

ты деревенской малороссийской идиллии Дома-Сада, так восхваляемой, например, Погодиным, то есть закрытого демиприродного пространства: «Мазанки прячутся в густых садах» [Там же, с. 35]; «уютное и мирное село, дремлющее под сенью орехов, яблонь и черешень» [Там же, с. 36].

Но в целом Дедлов деконструирует идиллию города-села. Вспомним травестийный образ бродящих по улицам свиней. С локусом улиц связан другой негативный мотив, характерный для энтропийного провинциального пространства, — мотив непролазной грязи, травестийно заостренный нарратором: «Еще меньше похож он на город во время дождей. Тогда его немощные глинистые улицы превращаются в толстый слой птичьего клея, в котором остаются калоши, сапоги и чулки обывателей, а иногда и сами обыватели» [Там же, с. 35]. Иронически охарактеризованы и нравы владимирцев. Если их купальные привычки еще можно счесть за патриархальную простоту («В реке купаются без костюмов, мужчины и женщины, причем совсем не прячутся» [Там же, с. 35]), то настроения горожан изображены явно негативно. Поляки, как указывалось выше, лелеют русофобию и чувство ressentimenta по отношению к империи; при этом все жители города, независимо от национальной и религиозной идентичности, отмечены духовной ограниченностью, завистью и корыстолюбием, деньги выступают высшей ценностью: «Дни текут быстро и незаметно <...> мужчины <...> завидуют всем, у кого много денег! <...> Женщины сплетничают» [Там же, с. 36]. Филистерское пространство вторгается и в пространства науки и исторической памяти — археологических раскопок древней Волыни, оценивая его на свой лад: «Три раскопки разом. Ну, на это ему с заезжим профессором тысяча пятьдесят отпустили. Когда раскопают, начнутся реставрации храмов. А тут уж сотнями тысяч пахнет... Да, счастье людям. <...> теперь вот и безукоризненные люди у археологии руки погреть» [Там же, с. 39]; «...все, узнав, что могила — могила, а кости — кости, сейчас же переходили к вопросу о средствах из казны, и всех эти сто рублей просто ошеломили. <...> Посетителей удивляло не то, что отпущено мало, а то, что люди работают даром, на деньги, из которых ничего не украдут и ничего нельзя украсть» [Там же, с. 44]. В данном контексте Волынь оценивается не как лиминальный топос, а как вариант русского провинциального пространства через призму русской литературы в гоголевском и щедринском изводах: «Русская провинция! как великолепно созрела ты вся целиком <...> для новых “Мертвых душ”! Попытка изобразить эту провинцию была сделана Щедриным в его “Головлевых”» [Там же, с. 44].

Наконец, третья ипостась дедловской Волыни есть также связанный с лиминальностью образ медиационного междуземья (между Малороссией и Белорусью). С этим значением мы сталкиваемся еще в репрезента-

ции Ковеля, где нарратор имеет дело с одним из служащих почты, который «хохол не хохол, белорус не белорус, словом, потомок дреговичей, некогда населявших Волинь» [Там же, с. 30]. Ср. также с характеристикой возницы в Волини: «На козлах... сидел... несомненный белорус, но говорил он по-малороссийски и носил усы; да и был он чуточку здоровее и крошечку бойчее белоруса» [Там же, с. 33]. Соответственно, волянянин для Дедлова есть межеумок, лицо, отмеченное неопределенностью, промежуточностью.

Описывая дорогу от Ковеля до Владимира, автор отмечает проявление то «беларусскости», то малорусскости в репрезентации тех или иных локусов, что, по его собственному признанию, приводит нарратора в недоумение, остроя повествование. Этничность и ландшафтность тесно связаны в сознании Дедлова, причем этничность в историческом процессе, что актуализирует этнонимы славянских племен, благодаря которым соединяются образы пространства прошлого и настоящего. Образ белорусов в условной картине этногенеза у автора связан с племенем кривичей, неплодородным лесным и болотно-песчаным топосом; тогда как малороссы — с племенами северян, древлян и полян, разбавленных кочевым элементом — «туранской кровью разных половцев, печенегов, черных клобуков и берендеев» — и с топосами черноземных степей, днепровских холмов и порогов, то есть во многом с тем, что в русской литературе XIX века обозначалось как *полуденная Россия*, отмеченная южностью, простором, небесностью и водностью: «Лесов нет, а простор бесконечен. Воздух сух, небо голубое, вода собрана в речки, и ее ровно столько, сколько нужно» [Там же, с. 32]. Дедловская Волинь «дреговичей» в этом плане проявляет черты обоих топосов: «От Ковеля до первой станции по направлению к Владимиру мы готовы были видеть Белорусь, притом исключительную самую худшую ее часть, где-нибудь на правом берегу Днепра, выше Рогачева. Пески и пески, едва окрашенные темным перегноем. Вдали нескончаемый бор. <...> Верст через шесть картина изменилась. Открылись обширные поля черной земли. Там и сям подымались пирамидальные тополи; под ними липовые рощи, а в рощах дома и службы помещичьих усадеб. Мы как бы перенеслись на равнину Черниговской или Полтавской губернии. Мы были в Малороссии» [Там же, с. 32]; «...проехали мы еще десяток верст — и снова мы точь-в-точь в Белоруси. Еще полстанции — и опять Волинь. Это повторялось несколько раз» [Там же, с. 32].

С одной стороны, промежуточность и неопределенность Волини оцениваются автором негативно, в это вкладывается значение ненастоящести, некоего этнического и ландшафтного симулякра: «чернозем не настоящий; это был всего лишь темный суглинок»; волянская дорога маркирована

твердостью («тверда как камень») в отличие от «черноземного пути» в Малороссии; «Не настоящий малоросс был и народ. Правда, он носил усы, соломенные брыли и коричневые свиты; язык его был малороссийский. Но зато попадались и белорусские белые свиты, обшитые по швам синим, длинные юбки женщин, рубахи навыпуск у мужчин. Самый малороссийский язык звучал грубовато и с полонизмами. Лица не были так смуглы и характерны, а тела так стройны и велики. Словом, раса — ни худая, ни хорошая, а так себе, средняя. Таковы же, говорят, и галичане» [Там же, с. 33—34]. В срединности и неопределенности Дедлов видит слабость описываемого антропного пространства: «...если вся старая Киевская и Червонная Русь была такова, если вот эти средние люди начали делать русскую историю, — неудивительно, что она скоро прекратила свое течение, перегороженная разными иноплеменными плотинами» [Там же, с. 34].

С другой стороны, мотив волынской смешанности, невыраженности черт может актуализировать и положительные мотивы покоя, уюта и привлекательности. Последний проявлен в образе древесного обрамления дорог на Волыни. Если признаком малороссийской дороги являются «придорожные вербы», а «белорусских шляхов» — березы, что делает вид, согласно нарратору, однообразно непривлекательным («что-то казенное, подрядное, солдатское»), то древесная гетерогенность волыньских путей привлекает взор путешествующего созерцателя: «...удивительно изящная аллея посаженных вперемишку кленов, ясеней, граба, береста, черешен и дуба; в низинках эти деревья сменялись колоссальными темно-зелеными осокорями, подававшими через дорогу, через наши головы, друг другу свои богатырские руки; везде <...> возвышались, точно гигантские пешеходы, пирамидальные тополи, разросшиеся во всю силу с прекрасной листвой и свежей корой. Это разнообразие придорожной аллеи придает дороге что-то приветливое и уютное. <...> тут сажал как будто заботливый хозяин, не забывший подарить путнику и фруктов в виде черешен»¹ [Там же, с. 34]. Соответственно, перед нами идиллический демиприродный пейзаж, для которого характерна умеренность, уютность, порождающие в свою очередь мотив покоя от созерцаемого, что также проявлено в панорамном пейзажном описании Волыни, подернутой дымкой в этом случае положительной неопределенности: «Там и сям синели леса и перелески, подернутые вместе с далью прозрачным сухим августовским туманом; матовым, запыленным золотом стлались сжатые и убранные пшеничные поля; чернела пахота. Солнце светило ярко, но не ослепительно; было жарко, но не очень.

1 Впрочем, Дедлов травестирует репрезентацию идиллического пространства иронической ремаркой, что волыньской дороге не доставало только «розовых кустов для путешествующих барышень» [Там же, с. 33].

И то, среди чего мы были, навевало на нас новое чувство ясного покоя и мирного удовольствия» [Там же, с. 34]. Данный пейзаж как *locus amoenus* Дедлов определяет уже через мотив настоящести: «...настоящая Волынь — эта исправленная и дополненная Белорусь» [Там же, с. 34].

4. Заключение = Conclusions

Итак, репрезентация пространств Киевщины и Волыни в тексте Дедлова характеризуется травестией, конфликтностью и лиминальностью. Травестия остренает иронически изображаемую пространственность и антропность, трансформируя как фактографический материал, лежащий в основу повествования, так и элементы романтического (мотив тихой украинской ночи) и идиллического (локус идиллического украинского Дома-сада и *locus amoenus* в панорамных описаниях Волыни).

Лиминальность и конфликтность пространственной репрезентации взаимосвязаны и обусловлены транзитным положением юго-западных пограничных территорий Российской империи XIX века. Это пространство представлено Дедловым в рассматриваемых нами фрагментах травелога как место столкновения и трансфера культур — немецкой, польской, русской, малороссийской и еврейской. Причем автор выступает прежде всего апологетом русскости. Конфликтность во взаимодействии этих культур ярче выражена в репрезентации Волыни, где польскость изображена в качестве наиболее агрессивного элемента по отношению к другим: дедловские поляки маркированы русофобией и ресентиментом, порождаемым комплексом бывших хозяев Волыни (имперским комплексом Речи Посполитой), что также зафиксировано в волынском пространстве исторической памяти. Конфликтность также усилена мотивом конфессионального противостояния «католичество / униатство vs. православие». Немецкость же, по Дедлову, выступает как потенциально бо́льшая, но скрытая угроза (латентная конфликтность). В рамках днепровского / киевского топоса автор отмечает паритет русскости и немецкости. Кроме того, киевская антропность, с одной стороны, имеет оттенок мультикультурности и космополитизма: «высокие» образы художников Васнецова и Сведомского, воплощающих народное (русское) и итальянско-римское (западное) начала соответственно; травестийные, сниженные образы русской певицы Ивановой в ночном костюмчике *bébé*, французско-немецкой артистки Бердичевсон. С другой стороны, для киевской антропности характерна несмешиваемость малороссийскости с иными этнокультурными антропными началами города, то есть актуализован мотив немалороссийскости Киева. Малороссийский этнос локализован в киевском топосе прежде всего локусами Подола и базара, куда сельские малороссы приезжают на торг.

Сквозными для волынского и киевского пространства являются мотивы хлебосольства и гостеприимства, тесно связанные с глоттонией малороссийского застолья. Ярче это выражено у Дедлова в репрезентации Киевщины, но этот мотивный ряд также остранин и травестирован мотивом ложного хлебосольства (симулякра гостеприимства), закрытости от Чужих при внешней демонстративной открытости киевского Дома-Семьи.

Общим для дедловских репрезентаций Киевщины и Волыни является также мотив неопределенности: как антропной (образ волынянина как межеумка, он представляет собой нечто среднее между малороссом и белорусом, выступает антропным симулякром; образ мнимо открытого киевлянина), так и пространственной, когда волынский ландшафт подан лишенным определенных ярких черт по сравнению с той же экспрессивной слитной демиприродной панорамой Киева-Днепра, являющейся *locus communis* киевских репрезентаций в русской литературе XIX века. Неопределенность же пространства Киева строится на сочетании в его облике новизны и старины. Неопределенный статус города-села носит в тексте и Владимир-Волынский. Впрочем, усредненный волынский пейзаж имеет в травелогге и положительный вариант идиллического, покойно-уютного локуса. В основном современная автору Волынь маркирована местечковостью / провинциальностью, маломасштабностью городских и речных топосов: изображенные Дедловым Ковель и Владимир не могут сравниться по привлекательности с Киевом, а Луг, маркируемый западностью, — с киевским отрезком Днепра. Топос последнего, впрочем, неоднороден: его докиевская (берущая начало в Белоруссии) часть отмечена энтропийностью (мотивы неосвоенности и враждебности речного пространства) и контрастирует с киевской частью, характеризующейся привлекательностью. Киев же, помимо вышеназванных свойств, маркирован мотивами демиприродности, сакральности, зрелищности / привлекательности.

Наконец, следует отметить характерное для обеих пространственных репрезентаций русского Запада в дедловском тексте противопоставление современного автору пространства пространству исторической памяти. Последнее, воплощенное как в персонифицированных сюжетах, так и в связанных с ними локусах (чаще всего храмовых), представлено возвышенным, позитивным вариантом, поскольку соотносится автором с древнерусскостью и общерусскостью, мотивом славного сакрального прошлого. Травестийные моменты возникают в данной репрезентации, как правило, в случае актуализации инокультурного элемента, прежде всего польского. Соответственно, влияние польскости оценивается негативно (мотивы полонизации как порчи русскости) и особенно акцентировано в волыньском варианте русского лиминального Запада. В малороссийском изводе

данного пространства Дедлов актуализирует мотив влияния степного, номадического элемента. В сравнении с «высокими» образами русско-го Средневековья Малороссии и Червонной Руси топосы современного темпорального слоя представлены блеклыми, жалкими и профанными: в Киеве сакральные места (в частности, Печерская лавра) противопоставлены пошло-скучным рекреационным локусам театрала и «Минерашек»; во Владимире-Волыньском описания руин православных храмов контрастируют с общим травестийным изображением полуторода-полусела, чье антропное измерение характеризуется мотивами зависти, корыстолюбия, ограниченности.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Источники и принятые сокращения

1. Бибиов П. А. От Петербурга до Екатеринославля / П. А. Бибиов // Время. — 1863. — № 2. — С. 110—131.
2. Вигель Ф. Ф. Записки Филипа Филиповича Вигеля : издание «Русского архива» (дополненное с подлинной рукописи) / Ф. Ф. Вигель. — Москва : Университетская типография, 1891. — Ч. 1. — 224 с.
3. Дедлов (Кигн) В. Л. Вокруг России : Польша — Бессарабия — Крым — Урал — Финляндия — Нижний : портреты и пейзажи / В. Л. Дедлов (Кигн). — Санкт-Петербург : М. М. Ледерле и Ко, 1895. — 587 с.
4. Дедлов (Кигн) В. Л. По Западному краю, старому и новому. (Из путевых заметок) / В. Л. Дедлов (Кигн) // Дело. — 1887. — № 6. — С. 1—48.
5. Долгорукий И. М. Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года / И. М. Долгорукий. — Москва : Университетская типография (Катков и К°), 1870. — 355 с.
6. Погодин М. П. Поездка пр<офессора> Погодина за границу в 1842 году / М. П. Погодин // Москвитянин. — 1844. — № 1. — С. 151—173.
7. Филиппов С. Н. На воспетой реке / С. Н. Филиппов // Под летним небом. — Москва : Изд. Ф. А. Куманин, 1894. — С. 67—123.

Литература

1. Айзикова И. А. Жанрвое своеобразие путевых заметок о переселении в Сибирь («Переселенцы и новые места. Путевые заметки» В. Л. Дедлова и «В далекие края. Путевые наброски и картины» К. М. Станюковича) / И. А. Айзикова // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве : коллективная монография. — Москва : Флинта, 2014. — С. 84—103. — ISBN 978-5-9765-2006-6.
2. Алексеев П. В. «Прекрасная, но мало обработанная страна» : имперские нарративы в травелогe А. И. Левшина / П. В. Алексеев // Образы Новороссии в русской культуре : между прошлым и будущим : материалы I Всероссийской научно-практической конференции. — Симферополь : Издательский дом КФУ, 2025. — С. 4—12.
3. Атаянц Г. Р. Путешествие В. Л. Дедлова (Кигна) как опыт самоидентификации / Г. Р. Атаянц // Вестник Тверского государственного университета. Серия : Филология. — 2019. — № 1 (60). — С. 187—190.

4. *Васильева Т. А.* У истоков украинофильства: образ Украины в российской словесности конца XVIII — первой четверти XIX века : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Т. А. Васильева. — Томск, 2014. — 232 с.
5. *Беляков С. С.* Русский взгляд на украинца / С. С. Беляков // Вопросы национализма. — 2015. — № 2 (22). — С. 80—91.
6. *Булкина И.* Киев в русской литературе первой трети XIX века : пространство историческое и литературное : диссертация ... доктора философских наук / И. Булкина. — Тарту, 2010. — 213 с.
7. *Дорджиева Е. В.* Образ города в репрезентациях путешественников : на примере восприятия Екатеринослава XIX — начала XX века / Е. В. Дорджиева // Современное педагогическое образование. — 2024. — № 3. — С. 316—322.
8. *Жданов С. С.* «Пиитическая Малороссия» : украинская пространственная образность в травеле «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» Н. И. Греча / С. С. Жданов // Имагология и компаративистика. — 2024. — № 22. — С. 180—201. — DOI: 10.17223/24099554/22/11.
9. *Жданов С. С.* Травестийная городская Малороссия в травеле «Славны бубны за горами, или путешествие мое кое-куда 1810 года» И. М. Долгорукого / С. С. Жданов // Научный диалог. — 2024. — Т. 13. — № 9. — С. 239—268. — DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268.
10. *Желтова Н. Ю.* Русское и белорусское в прозе В. Л. Кигна-Дедлова : к проблеме национальной идентичности / Н. Ю. Желтова // Филологическая регионалистика. — 2016. — № 4 (20). — С. 16—20.
11. *Ерофеев Н. А.* Туманный Альбион : Англия и англичане глазами русских, 1825—1853 гг. / Н. А. Ерофеев. — Москва : Наука, 1982. — 320 с.
12. *Ковальская С. И.* «Переселенцы и новые места. Путевые заметки» В. Л. Дедлова как источник по изучению процессов аккультурации / С. И. Ковальская // Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сборник статей международной научно-практической конференции : в 2-х томах. — Оренбург : ОГПУ, 2020. — Т. 1. — С. 173—177.
13. *Крюкова О. С.* Романтический образ Украины в русской литературе XIX века / О. С. Крюкова. — Москва : Наука, 2017. — 125 с. — ISBN 978-5-02-039986-0.
14. *Кубанев Н. А.* Образ Америки в русской литературе (из истории русско-американских литературных связей конца XIX — первой половины XX в.) : монография / Н. А. Кубанев. — Москва ; Арзамас : [б. и.], 2000. — 440 с. — ISBN 9785865170792.
15. *Курина Т. А.* Путевые заметки В. Л. Кигна-Дедлова : опыт познания русского национального характера и особенностей русской культуры / Т. А. Курина // Филологическая регионалистика. — 2010. — № 1—2. — С. 41—47.
16. *Куриянов С. О.* Об украинском тексте в русской романтической литературе / С. О. Куриянов // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. — 2018. — № 6. — С. 765—770.
17. *Марчуков А. В.* Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время / А. В. Марчуков. — Москва : Регнум, 2011. — 294 с. — ISBN 987-5-91 887-012-9.
18. *Оболенская С. В.* Германия и немцы глазами русских (XIX в.) / С. В. Оболенская. — Москва : ИВИ РАН, 2000. — 210 с. — ISBN 5-94067-004-0.
19. *Овчинников Д. П.* Малороссия и малороссийский текст в творчестве Н. В. Гоголя (введение в тему) / Д. П. Овчинников // Язык и культура. — 2016. — № 26. — С. 194—199.
20. *Сипенкова Т. М.* «Как можно меньше быть туристом...» о книге В. Л. Кигна «Приключения и впечатления в Италии и Египте. Заметки о Турции» (СПб., 1888) /

Т. М. Сипенкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. — 2009. — № 3. — С. 91—100.

21. Скибина О. М. Поэтика пейзажа в путевых очерках В. Дедлова / О. М. Скибина // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. — 2021. — Т. 1. — № 1 (34). — С. 50—56. — DOI: 10.51965/2076-7919_2021_1_1_50.

22. Скибина О. М. Творчество В. Л. Кигн-Дедлова : Проблематика и поэтика : монография / О. М. Скибина. — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. — 360 с. — ISBN 978-5-85859-548-9.

23. Цзи Х. Российская идентичность в литературном творчестве В. Л. Кигна-Дедлова / Х. Цзи // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. — 2022. — № 1 (130). — С. 168—172.

24. Чупин М. Ю. «Жутко вам на пороге Азии!» : ориенталистские и эволюционистские представления чиновника переселенческого управления В. Л. Кигна (Дедлова) / М. Ю. Чупин // Социальные и гуманитарные исследования сегодня : непредсказуемое прошлое, неопределенное будущее : сборник материалов XVI Всероссийской (с международным участием) научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 21—23 апреля 2021 г.). — Томск : ТГУ, 2021. — Выпуск 16. — С. 593—599. — ISBN 978-5-907442-29-0.

25. Lebedeva O. B. Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts / O. B. Lebedeva, A. S. Januškevič. — Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 2000. — 276 S. — ISBN 3412092991.

26. Westphal B. Geocriticism. Real and Fictional Spaces / B. Westphal. — London : Palgrave Macmillan, 2011. — 192 p. — ISBN 978-0-230-11021-2.

Статья поступила в редакцию 20.06.2025,
одобрена после рецензирования 14.11.2025,
подготовлена к публикации 20.12.2025.

Material resources

- Bibikov, P. A. (1863). From St. Petersburg to Yekaterinoslavl. *Time*, 2: 110—131. (In Russ.).
- Dedlov (Kign), V. L. (1895). *Around Russia: Poland — Bessarabia — Crimea — Urals — Finland — Nizhny Novgorod: portraits and landscapes*. St. Petersburg: M. M. Led-erle and Co. 587 p. (In Russ.).
- Dedlov (Kign), V. L. (1887). On the Western edge, old and new. (From travel notes). *A busi-ness*, 6: 1—48. (In Russ.).
- Dolgoruky, I. M. (1870). *Glorious diamonds beyond the mountains, or my journey somewhere in 1810*. Moscow: University Printing House (Katkov and Co.). 355 p. (In Russ.).
- Filippov, S. N. (1894). On the glorified river. In: *Under the summer sky*. Moscow: F. A. Kuma-nin Publishing House. 67—123. (In Russ.).
- Pogodin, M. P. (1844). Pogodin's trip abroad in 1842. *Moskvityanin*, 1: 151—173. (In Russ.).
- Vigel, F. F. (1891). *Notes of Philip Filipovich Vigel: edition of the "Russian Archive" (sup-plemented from the original manuscript), 1*. Moscow: University Printing House. 224 p. (In Russ.).

References

- Aizikova, I. A. (2014). Genre originality of travel notes on resettlement to Siberia ("Migrants and new places. Travel notes" by V. L. Dedlov and "To distant lands. Travel sketches

- p>and paintings” by K. M. Stanyukovich). In:
- The Siberian text in the national plot space: a collective monograph*
- . Moscow: Flinta. 84—103. ISBN 978-5-9765-2006-6. (In Russ.).
- Alekseev, P. V. (2025). “A beautiful but poorly cultivated country”: imperial narratives in the travelogue by A. I. Levshin. In: *Images of Novorossiia in Russian culture: between the past and the future: proceedings of the I All-Russian Scientific and Practical Conference*. Simferopol: KFU Publishing House. 4—12. (In Russ.).
- Atayants, G. R. (2019). The Journey of V. L. Dedlov (Kigna) as an experience of self-identification. *Bulletin of Tver State University. Series: Philology*, 1 (60): 187—190. (In Russ.).
- Belyakov, S. S. (2015). The Russian view of Ukrainians. *Issues of nationalism*, 2 (22): 80—91. (In Russ.).
- Bulkina, I. (2010). *Kiev in Russian literature of the first third of the 19th century: historical and literary space*. Doct. Diss. Tartu. 213 p. (In Russ.).
- Chupin, M. Y. (2021). “It’s creepy for you on the threshold of Asia!”: orientalist and evolutionist ideas of the official of the resettlement administration V. L. Kign (Dedlov). In: *Social and humanitarian research today: an unpredictable past, an uncertain future: a collection of materials of the XVI All-Russian (with international participation) scientific conference of students, undergraduates, graduate students and young scientists (Tomsk, April 21—23, 2021)*, 16. Tomsk: TSU. 593—599. ISBN 978-5-907442-29-0. (In Russ.).
- Dorjieva, E. V. (2024). The image of the city in the representations of travelers: on the example of the perception of Yekaterinoslav of the XIX — early XX century. *Modern pedagogical education*, 3: 316—322. (In Russ.).
- Ji H. (2022). Russian identity in the literary work of V. L. Kigna-Dedlov. *Proceedings of Gomel State University named after F. Skoriny*, 1 (130): 168—172. (In Russ.).
- Kovalskaya, S. I. (2020). Migrants and new places. Travel Notes by V. L. Dedlov as a source for the study of acculturation processes. In: *The tenth Bolshakov readings. Orenburg Region as a historical and cultural phenomenon: collection of articles of the international scientific and practical conference: in 2 volumes, 1*. Orenburg: OGPU. 173—177. (In Russ.).
- Kryukova, O. S. (2017). *The romantic image of Ukraine in Russian literature of the XIX century*. Moscow: Nauka Publ. 125 p. ISBN 978-5-02-039986-0. (In Russ.).
- Kubanev, N. A. (2000). The image of America in Russian literature (from the history of Russian-American literary relations at the end of the nineteenth and the first half of the twentieth centuries): a monograph. In: *Russian Academy of Sciences*. Moscow; Arzamas: [b. i.]. 440 p. ISBN 9785865170792. (In Russ.).
- Kurina, T. A. (2010). Travel notes by V. L. Kigna-Dedlov: the experience of learning the Russian national character and the peculiarities of Russian culture. *Philological regionalism*, 1—2: 41—47. (In Russ.).
- Kuryanov, S. O. (2018). On the Ukrainian text in Russian romantic literature. *Dynamics of linguistic and cultural processes in modern Russia*, 6: 765—770. (In Russ.).
- Lebedeva, O. B., Januškevič, A. S. (2000). *Deutschland im Spiegel der russischen Schriftkultur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts*. Köln, Weimar, Wien: Böhlau. 276 S. ISBN 3412092991. (In Germ.).
- Marchukov, A. V. (2011). *The image of Ukraine in the Russian mind. Nikolai Gogol and his time*. Moscow: Regnum. 294 p. ISBN 987-5-91 887-012-9. (In Russ.).

- Obolenskaya, S. V. (2000). *Germany and the Germans through the eyes of Russians (XIX century)*. Moscow: IVI RAS. 210 p. ISBN 5-94067-004-0. (In Russ.).
- Ovchinnikov, D. P. (2016). Little Russia and the Little Russian text in the works of N. V. Gogol (introduction to the topic). *Language and Culture*, 26: 194—199. (In Russ.).
- Sipenkova, T. M. (2009). “Being a tourist as little as possible...” about V. L. Kigna’s book “Adventures and impressions in Italy and Egypt. Notes on Turkey” (St. Petersburg, 1888). *Bulletin of St. Petersburg University. Oriental and African studies*, 3: 91—100. (In Russ.).
- Skibina, O. M. (2013). *The work of V. L. Kign-Dedlov: Problematics and poetics: a monograph*. Orenburg: OGPU Publishing House. 360 p. ISBN 978-5-85859-548-9. (In Russ.).
- Skibina, O. M. (2021). The poetics of landscape in the travel essays of V. Dedlov. *Bulletin of the V. N. Tatishchev Volga State University*, 1 / 1 (34): 50—56. DOI: 10.51965/2076-7919_2021_1_1_50. (In Russ.).
- Vasilyeva, T. A. (2014). *At the origins of Ukrainophilism: the image of Ukraine in Russian literature at the end of the XVIII — first quarter of the XIX century*. PhD Diss. Tomsk. 232 p. (In Russ.).
- Westphal, B. (2011). *Geocriticism. Real and Fictional Spaces*. London: Palgrave Macmillan. 192 p. ISBN 978-0-230-11021-2.
- Yerofeyev, N. A. (1982). *Foggy Albion: England and the British through the eyes of Russians, 1825—1853*. Moscow: Nauka Publ. 320 p. (In Russ.).
- Zhdanov, S. S. (2024). “Religious Little Russia”: Ukrainian spatial imagery in the travelogue “Travel Letters from England, Germany and France” by N. I. Grech. *Imagology and comparative Studies*, 22: 180—201. DOI: 10.17223/24099554/22/11. (In Russ.).
- Zhdanov, S. S. (2024). Travesty of urban Little Russia in the travelogue “Glorious diamonds beyond the Mountains, or my journey to somewhere in 1810” by I. M. Dolgoruky. *Nauchnyi dialog*, 13 (9): 239—268. DOI: 10.24224/2227-1295-2024-13-9-239-268. (In Russ.).
- Zheltova, N. Y. (2016). Russian and Belarusian in the prose of V. L. Kigna-Dedlov: towards the problem of national identity. *Philological Regionalism*, 4 (20): 16—20. (In Russ.).

*The article was submitted 20.06.2025;
approved after reviewing 14.11.2025;
accepted for publication 20.12.2025.*